



ПРЕДЛОЖЕНИЕ "Литературной газеты" написать статью к 80-летию со дня рождения отца поначалу показалось мне неприемлемым: слишком хорошо помнилась интонация сына одного знаменитого поэта (в то время сыну было лет шестьдесят), с которой он произносил "папочка". Сын поэта был милейший человек, но от этого "папочка" знобило, как от железа по стеклу.

С другой стороны, я не литературовед и, хотя люблю и знаю отцовское творчество, все-таки не осмелюсь углубляться в его оценки, тем более на страницах "Литературки".

Но я подумал: вот уже шестнадцать лет как нет отца. За эти годы, кроме заупокойного лома, к оградке его памяти нанесли много мерзости. Может быть, воспользоваться юбилеем как поводом и прервать молчание, которое те, кто его любил, кто дружил с ним, кто был его душеприказчиком, хранили, когда то тут, то там по поводу, без повода и просто по душевной склонности его обливали грязью.

Почему я молчал? Ну, во-первых, по отцовской традиции — никогда не отвечать на ругань. Даже к самым несправедливым статьям, даже к предательствам он относился не просто со спокойным достоинством, а как бы даже испытывая неловкость перед злопыхателями. Когда в конце пятидесятых, после публикации в журнале "Москва" двух его лучших военных рассказов "Пантелеев" и "Еще один день", Сурков в своей статье обвинил его в очернительстве армии и страны, — тот самый Сурков, который, как знала из отцовских стихов Россия, должен был "помнить дороги Смоленщины", — отец не ответил в печати и не порвал с Сурковым.

Во-вторых, потому, что не хотелось привлекать к этим публикациям дополнительного внимания и принимать участие в разборке грязного белья.

В-третьих, по-честному, все думалось, что кто-то из его читателей и почитателей, из тех, кто несколькими годами раньше, по свежей памяти, пел ему осанну, откликнется возмущенной статьей или хотя бы репликой, чтоб не выглядело это семейной борьбой за чистоту отцовского мундира.

В-четвертых... конечно, сыну свойственно ошибаться в оценках личности отца, но все-таки рискованно сказать: отчасти из-за несправедливости масштабов. Ну, скажем, в отцовских повестях, ставших потом романом "Так называемая личная жизнь", один из самых симпатичных, обаятельных персонажей — Гурский. Ни для кого не было секретом, что не просто прообразом, а, скажем так, моделью для этого героя послужил Александр Кривицкий, товарищ отца по "Красной звезде" и многократный его зам в дальнейших редакторствах. Потом, после отцовской смерти, Кривицкий описал эти годы в своих воспомина-

ниях. Так вот, в книге отца Кривицкий — Гурский словно увиден через увеличивающую оптику, а в воспоминаниях Кривицкого Симонов — через уменьшающую. Тут, видимо, законы психологии вступают в противоречие с законами физики и маленькому большой кажется меньше...

Теперь о самих посмертных публикациях. Я бы тоже разделил их на категории. Первая — по невежеству или беспардонной лени. Скажем, когда Э.Поляновский в статье, посвященной делу Синявского и Даниэля, вспоминая 1968 год, пишет, что письмо писателей, приветствующих ввод советских войск в Чехословакию, подписал "секретариат Союза писателей", а входили в него... и дальше — перечень фамилий начиная с Симонова, неплохо бы ему предварительно поинтересоваться, почему именно "секретариат", ведь в те годы очень любили, чтобы добровольные, а уж тем более вынужденные подлости подписывали поименно. И вдруг — "секретариат"? А вспомнил бы, что три секретаря — Леонов, Симонов и Твардовский — отказались это письмо подписывать. В результате чего и возник этот безымянный "секретариат", который Поляновский наконец-то "сумел" расшифровать.

Или статья в "Новом мире". Рецензия на незадолго перед тем вышедшую посмертную книгу отца "Глазами человека моего поколения".

Автор рецензии написал, что читал в юности стихи Симонова, а теперь вот прочел "это", и сравнение молодого Симонова и "этого" вызывает у него ощущение, близкое к рвотному. Все, что было сделано отцом между военными стихами и этой книгой, автор просто не читал — пренебрег. Не захотел он обратить внимание и еще на одно обстоятельство: книгу составили из расшифрованных — частично уже после смерти отца — диктофонных пленок. Складывалась она в соответствии с отцовским замыслом, но представляла собой лишь первую и, может быть, не главную часть рукописи, да и ту не целиком, а с пропусками. Но и предисловия автор читать не стал. Тоже пренебрег. Что ж, Бог ему судья. Судьба автора этой рецензии трагична, говорят, что незадолго до смерти он высказывал сожаление о написанном.

Но вот Сергей Павлович Залыгин, редактор "Нового мира", напечатал эту пощечину покойнику. Статья не имела подзаголовка "мнение" и читалась как редакционная, точнее — заказная.

Кстати, об одном историко-литературном недо-

разумении, раз уж зашла речь о "Новом мире", просто чтобы восстановить последовательность фактов. Письмо редколлегии "Нового мира", гремящее пастернаковский роман, писали редколлегия Симонова и он сам, но... глупость и мерзость эту все-таки отправили не в набор, а автору! Напечатал же его позже в том же "Новом мире" сменивший Симонова на этом посту Твардовский. На сие немаловажное обстоятельство наши литературоведы предпочитают не обращать внимания.

Отец был человек грешный. Но сошлюсь на другого грешника, самого любимого отцовского поэта изшедших за ним в следующем поэтическом поколении:

*Грехи прощают за стихи.
Грехи большие —
за стихи большие...*

Это Слуцкий. А это Симонов:

"Ну что же, когда вот такой вечер — пятьдесят человеку, конечно, больше вспоминают хорошее. Я хочу просто, чтобы присутствующие здесь, собравшиеся здесь мои товарищи знали, что не все мне в своей жизни нравится, не все я делал хорошо — я это понимаю, — не всегда был на высоте, на высоте гражданской, на высоте человеческой. Бывали в жизни вещи, о которых я вспоминаю с неудовольствием, случаи в жизни, когда я не проявлял ни достаточной воли, ни достаточного мужества. И я это помню".

Это из речи на собственном юбилее. И год — 65-й. От какого количества людей мы так и не дождались подобных слов ни в конце восьмидесятых, ни сейчас, в девяностых!

Алексей СИМОНОВ

Если дорог тебе твой отец...

Мир. газета. — 1995. — 29 нояб. — с. 8

Поэтому, когда по многу раз одни и те же люди, помня Симонову его грехи перед Зошенко, то ли забывают, то ли за грех считают и тот факт, что единственный, кто в те годы напечатал Зошенко, все-таки был Симонов, у меня возникает ощущение, что в том, что партизанские рассказы — это не лучший Зошенко, тоже виноват отец.

Что делать, Симонов был советский человек, партийный человек и не раз "колебался вместе с линией". Но что-то я не помню, чтобы его обвинители в те же годы или даже попозже публично отказывались "выполнять преступные приказы", как это стало возможным сегодня. Отец был человек с гипертрофированным чувством долга. Выполнение этого долга бывало для него мучительным. Никогда не забуду его рук, с которых в конце сороковых не сходили языки нервной экзальтации. Он избавился от них только в пятьдесят пятом или шестом.

Но это уже публикации недополученцев — людей, живущих с ощущением, что они чего-то недополучили и ищут в том виноватых. Особенно это видно по дневникам Юрия Нагибина, где писатель, благополучный и далеко не бездарный, скрежещет зубами от болезненной природной завистливости. Досталось от него и отцу. Правда, не ему одному и не больше другим, но заряд застарелой злобы в него Юрий Маркович влил.

А отцу завидовать было одним удовольствием. Он для этого давал столько поводов: был красивый, удачливый, богатый и щедрый. Но что тут поделаешь. Можно, конечно, из публикаций в публикацию повторять легенду про любимчика Сталина. Но ведь "Жди меня" не Сталиным написано. И все свои квартиры, машины и дачи Симонов оплатил за счет своих литературных гонимых, а не за счет товарищей по СП или редакции.

А вот, скажем, его дворянскому происхождению, иметь которое теперь стало модно, в тридцатые годы едва ли кто завидовал, хотя оно в нем крепко сидело. Или тому, сколько он тратил сил на других, часто совершенно чужих людей, в том числе и за счет своих так и не написанных книг, — этому завидовать желающих нет.

В первом томе собрания сочинений, единственным, вышедшем при его жизни, отец поставил последним перевод двух четверостиший Кипплинга. Поставил не случайно и с намеком:

Просьба

*Заканчивая путь земной,
Всем сплетникам напоминая:
Так или иначе, со мной
Еще вы встретитесь друзья!
Я вам оставляю столько книг,
Что после смерти обо мне
Не лучше ль спрашивать у них,
Чем лезть с вопросами к родне!*

Не выполнили. Это я не про вопросы к родне, хотя и их задают напрапую, предпочитая книгам, а часто и не читая их. Года три еще после его смерти чуть не каждый месяц появлялась вдруг какая-нибудь учительница литературы, питомца которой позарез необходимо было увидеть живого Симонова. Грустно это, конечно, но я не об этом, я о сплетниках...

В ЖУРНАЛЕ "Искусство кино" была напечатана книга воспоминаний Татьяны Окуневской. Дама оказалась не лишенной литературного дарования, кое и употребила на создание о себе легенды. Для легенд нужны ангелы и монстры. В ангелы она, разумеется, выбрала себя, а роль монстров отвела своему предпосадочному мужу Борису Горбатову и Симонову: потасканные мерзавцы, трусы и злопамятные негодяи, а Горбатова она и в сутенеры записала бы, если б не тень, которую подобное заявление бросало на ее ангельский лик. Мне было тринадцать, когда умер Горбатов, но даже то, что я о нем помню, говорит, что это ложь. Дети, которых за год до его смерти родила ему другая женщина, их достоинство, доброта, душевная

щедрость — свидетельство хорошей породы. Но я о Симонове. Из многих мерзостей самая скверная в "мемуарах" та, что якобы по совету Симонова Окуневская после возвращения из лагеря была выкинута из Театра Ленинского комсомола, что Симонов отрезал ей путь назад, в кино, в искусство. Свидетелей нет. Ее слова — против моих. Я еще добавлю ей аргумент. Отец редко кого ненавидел. Ее — ненавидел. И оставил о том недвусмысленное свидетельство. Оно напечатано в "Стихах 54-го года". Называется "Чужая душа".

*Дурную женщину любил,
А сам хорошим парнем был...
Это об умершем друге, а потом:
...А эта, с кем он жил, она —
Могу ругаться смело, —
Что значит слово-то "жена",
Понятья не имела.*

*Свои лишь ручки, ноженьки
Любила да жалела,
А больше ничевошеньки
На свете не умела:*

*Ни сеять, ни пахать, ни жать,
Ни думать, ни детей рожать,
Ни просидеть сиделкою,
Когда он болен, ночью,
Ни самую безделкою
В беде ему помочь.*

*Как вспомнишь — так в глазах темно, —
За жизнь у ней лишь на одно
Умения хватило —
Свести его в могилу!*

Так вот, свидетельствую, что это, по неоднократному признанию отца, — о ней, о Татьяне Окуневской. А в судьи, коль скоро в Высший Суд я не верю, призываю многочисленных друзей отца, актеров и актрис, с которыми он работал, выпивал, и даже тех, с кем романы водил: нанес ли он хоть малый урон чьей-нибудь творческой судьбе (если только не вести речь о пробах на роль — тут всегда выбор жесток к тем, кого не выбирают)?

Теперь еще одна дама объявилась, ее уже по телевизору показывали, где она обещала, что в ее книге уж вся самая что ни на есть изнаночная правда отношений Симонова и Серовой описана. Я еще

не читал, поэтому воздержусь называть даму и книгу, чтоб ненароком не сделать ей рекламу. Скажу только, что сочинительница к дочери Симонова и Серовой — моей сестре Маше — за сведениями не обращалась.

Вообще эта часть отцовской биографии пользуется у посмертных сочинителей особым вниманием. Понять их можно. А к некоторым, в сущности, и претензий нет: пишут, как понимают. Только больно много их — и все вокруг одного и того же. Причем друг друга они не читают и не слушают по принципу старого анекдота про чукчу — не читателя, а писателя.

Ну, и последняя категория — криминальная. Правда, по этому поводу публикаций пока было немного.

Некоторое время назад члены кооператива в доме № 2 по улице Черняховского, того самого, в котором отец жил и работал и на котором висит мемориальная доска, как бы это помягче сказать... экспроприировали симоновский мемориальный кабинет, завещанный им Центральному государственному архиву литературы и искусства. В этом кабинете последние пятнадцать, если не ошибаюсь, лет он работал, принимал людей и сто граммов, писал письма, диктовал, думал...

Не буду поминать юриспруденцию, тем более что дело в суде. Но сейчас в бывшем кабинете отца чей-то офис, а все, что там было памятного, снесено в подвал. Скажу только, что отец выплачивал за этот кабинет столько же, сколько платили за жилплощадь остальные обитатели дома, да к тому же пробивал для этого кооператива разные необходимые, но так по-советски труднодостижимые блага. Тогда его все любили. Сейчас его нет, а сдать внаем лишнюю жилплощадь — глядишь, и у кооператива денежки будут. Вот это нехитрое соображение и толкнуло правление кооператива на такой способ увековечить память своего бывшего жильца. Не откажу себе в удовольствии назвать основных героев поименно: это председатель правления кинорежиссер Евгений Ташков (тот, который "Агентство его превосходительства") и его замы — кино- и телекритик Анри Вартаков и Эдуард Иванян, автор книг об Америке. Все очень славные, милые люди, просто, как говаривал Воланд, жилищный вопрос их испортил...

Н У и в завершение — менее криминальная, но уже получившая известность история с экспроприацией отцовской... строки. Видели ли вы плакат "Нашего дома — России"? Там Черномырдин сложил руки домиком, а над ним: "Если дорог тебе твой дом" — как вы понимаете, без ссылок на первоисточник. И точно — если написать под строчкой: Симонов, то при чем тут, скажите, Черномырдин? А если не писать, то "хотели как лучше, а получилось как всегда"? У наследников, как вы догадываетесь, никто разрешения и не думал спрашивать. Объявили строчку "крылатой фразой" и... — в "наш дом" ее.

Конечно же, к юбилеям надо писать о другом. Но и не высказывать хотя бы часть того, что накопилось, я не мог. Извиняюсь перед читателями "Литературной газеты", в порядке компенсации за этот скорбный "перечень бед и обид" хочу закончить статью чем-то, достойным отцовского восьмидесятилетия.

После его смерти, через шесть лет, вместе с началом перестройки, стали все друг с другом разбираться, кто в чем виноват и насколько. И подходили ко мне многие хорошие люди и говорили: "Знаешь, вот если б был жив твой отец..." А совсем недавно, в преддверии юбилея, одна прекрасная женщина брала у меня интервью и, в частности, спросила: "Как, по-вашему, что бы думал, как отнесся бы к тому, что происходит вокруг, ваш отец, если б был жив?"

И я ей ответил, и отдаю себе отчет в том, что только искренность оправдывает бессмысленность моего ответа: "Вы знаете, мне все время кажется, что если бы отец был жив, мерзости вокруг было бы меньше".

Делайте со мной что хотите, но я искренне в это верю.